

Труд, творчество, борьба

Мы все чаще и чаще — это вполне естественно в наши годы великих трудовых битв — вспоминаем, говоря о Горьком, замечательные слова, произнесенные им в 1928 году в Тбилиси: «Если бы я был критиком и писал книгу о Максиме Горьком, я бы сказал в ней, что сила, которая сделала Горького тем, что он есть... заключается в том, товарищи, что он первый в русской литературе и, может быть, первый в жизни вот так, лично, понял величайшее значение труда, образующего все ценнейшее, все прекрасное, все великое в этом мире». Эти слова приобретают для нас особенно возмущающий смысл, если мы вспомним, что они были произнесены в том городе, где Горький начинал свой творческий путь, когда была сначала молодобойней, а затем отменником Тифлиских железнодорожных мастерских. Сам Горький никогда не забывал об этой важной, решившей его судьбу поре его жизни. То, что было им так ясно сформулировано в 1928 году, он высказал на языке искусства еще в 1901 году, создав образ машиниста Нила, в котором было что-то и от тифлиских железнодорожников — друзей Горького, и от него самого, молотобойца кузнечного цеха, и в котором все это осветилось зарницами начавшегося революционного погрома. С какой силой зазвучали тогда слова Нила о радости жизни, о радости, которая в том, чтобы быть молотом по красной, жгучей массе металла, чтобы мчаться на паровозе осенними ночами сквозь дождь и ветер, и главное, в том, чтобы «вместать в самую гущу жизни... тому — помешать, этому — помочь...»

Труд и творчество изображались и до Горького, но высшее, чего достигла предшествующая литература, заключалось либо в сочувствии людям труда, когда труд понимался только как бремя, либо в прославлении творчества, когда оно понималось только как нечто духовное. Горький первый показал труд как творчество, раскрыл его духовное и эстетическое содержание и начал тем самым новую эпоху в мировом искусстве. Когда будет написана история советской литературы, станет ясно, какое огромное значение имела для советских писателей горьковская героическая поэзия труда. Тогда раскроются с новой стороны романы Гладкова, показавшие поэзию трудовых процессов; «Педагогическая поэма» Макаренки, созданная под прямым влиянием Горького и рассказывающая о могучей воспитательной силе «школы труда»; своеобразные произведения Ильяна, где вся действительность, каждый предмет, каждая вещь даны как воплощение человеческих деяний; замечательные сказки Бажова, ограниченные художником в богатства рабочего фольклора; и все многообразие создания советских писателей, выражающие новое мироощущение советского человека, который, по выражению Горького, «наполняет время своей работой и осознает весь мир как свое хозяйство».

Но еще большее значение имеет то, что в произведениях Горького нафос творчества оказался неразрывно связанным с эпохой борьбы, что Горький признал достоянием высшего наименования творчества лишь тот труд, лишь ту науку и то искусство, которые направлены на высшее — «в самую гущу жизни», на благо народа.

Вот почему он рисовал как подлинного творца рабочего-революционера Нила и вот почему он, в сущности, отказывал в праве на это наименование «детям солнца» — тем ученым и писателям, которые пытались спрятать от жизни в «науке для науки» или в «искусстве для искусства». В образе Протасова в пьесе «Дети солнца» Горький показал ученого, который стремился разгадать загадки природы, но створачивался от всего, что происходило вокруг и становился жалкой, трагичной фигурой. Горький не отрицал благих намерений Протасова, но тем более сурово осуждал в нем тип ученого, чуждого подлинно революционной, подлинно творческой науке.

Фигуры такого рода Горький изображал в своих произведениях не раз. Писатель Мстасков в пьесе «Чужаки» произносит много хороших слов о радости творчества, о презрении к страданиям, о несомненности видеть и показывать светлое в жизни. Он даже верит в эти свои слова, хотя в «Заметке для артистов» Горький сделал характерную оговорку о Мстаскове: «с каждым данным момент искренен». Но Мстасков не борется со злом, а отворачивается от него, он сам признается, что он «хитрый», что он играет роль «блаженного и дурачка», прячет от ответственности за свои поступки, за все, происходящее вокруг. И его творческая программа соответствует этой его жизненной позиции: он хочет рисовать светлое в жизни, но решительно отказывается от задач критики и борьбы. Он говорит: «Я же не сатирик!» Мы лучше пойдем значение этих слов Мстаскова, если вспомним, что сам Горький говорил в те годы о необходимости «нового Шедрина» и создавал такие произведения, как «Горюхи Оксфорд» и «Русские сказки». В Протасове и Мстаскове близок и герой незавершенной пьесы Горького «Юнов Богомолов» — инженер, мечтающий о преобразении природы, но не выходящий из желаний видеть, кому и чему служит в действительности все его деятельность.

Говоря о Богомолове и о персонаже другой горьковской пьесы — предводителе Сомове, тов. Юзовский писал, что это — «две фигуры, о которых можно сказать, что они полемически направлены друг против друга и представляют две непримиримых точки зрения на мир, что в их лице «враждебные философии» воинственно сталкиваются друг с другом». Что же это за «враждебные философии»? О «философии» Сомова долго говорить не приходится, это — чистейший фашизм. А философия Богомолова? Это, оказывается, — социализм, коммунизм, ибо Богомолов говорит о радости труда и творчества. «Сила Богомолова не в негативности, отрицании, сатире, критике; его дело — утверждение положительного начала в жизни», — указывает при этом критик. — О Богомолове можно сказать, что он младенец, устами которого

полагает истина — истина, принадлежащая Горькому». Но в чем же заключается истина Горького — в том, что человек, пусть даже искренне, говорит о радости труда, но не способен бороться за то, чтобы труд стал действительно радостью? В том, что человек говорит о своей творческой деятельности, не замечая, не желая замечать той «детали», что сам он, практически, лишь слуга жалкого тунеядца? В этом всем — истина Горького! Может быть, не стоило бы вспоминать о статье, из которой здесь приведены цитаты, если бы не одно обстоятельство. Статья эта не прошла бесследно, она оказала определенное влияние на группу наших авторов, поставивших несколько сцен из пьесы «Юнов Богомолов». Эта постановка находится в полном соответствии с указанным взглядом на героя пьесы. Здесь не передана вся сложность горьковского отношения к этому герою, здесь не звучит ни малейшей нотки осуждения по его адресу. Можно ли удивляться тому, что автор статьи «Сомов и Богомолов» откликнулся на эту постановку восторженной статьей «Испытание сеной»? Так «испытаны» друг друга критик и актеры, — посмотрим, однако, как «испытала» эту проблему сама жизнь.

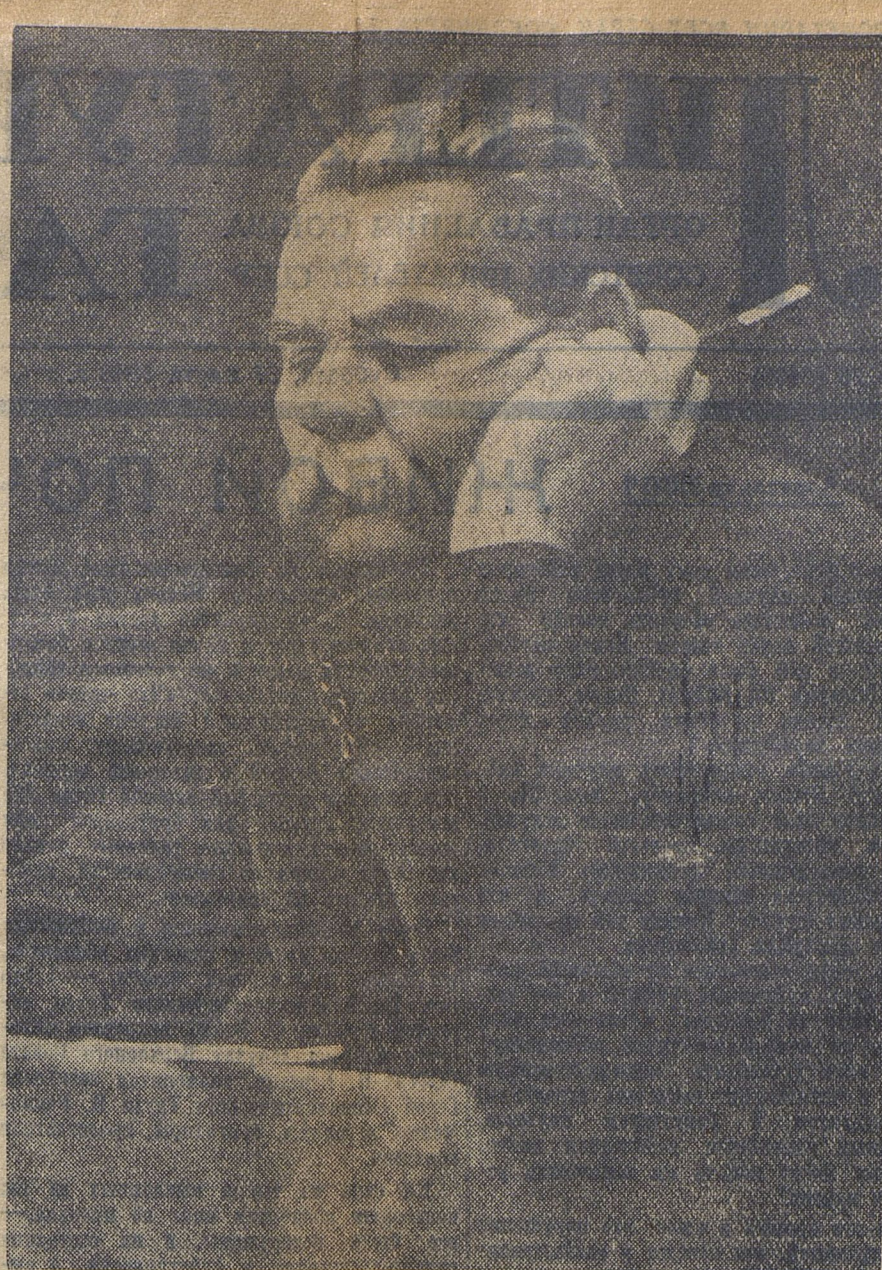
Напомним, прежде всего, что такие образы Горького, как Протасов и Богомолов, отражая явления старой русской действительности и свидетельствуя о борьбе Горького против мнимой «наследственной» позиции «детей солнца», против «науки для науки» и «творчества для творчества», заключали в себе, вместе с тем, важное полемическое содержание. Они, эти образы, были противопоставлены тем фигурам, которых сочувственно рисовали в своих произведениях некоторые западноевропейские писатели конца XIX и начала XX века, — фигурам интеллигентов-гуманистов, проникнутых стремлением «творить добро», но органически не способных бороться со «злом жизни». Авторы таких произведений, отмечая этот недостаток своих героев, выражали им сочувствие, но не осуждение, ибо сами занимали, в сущности, такую же позицию и не могли или не хотели подняться до революционного гуманизма, гуманизма борьбы. Действительность уже не раз показала, что такая позиция почти всегда приводила к капитуляции перед «злом жизни» и что Горький был совершенно прав в своей переосмысленной «детали», в изведении их из трагического в трагикомический план. Действительность сегодняшнего дня, судьба ряда «мастеров культуры» Западной Европы и Америки подтверждает это с особенной наглядностью. Разве мы не видим сейчас, как буржуазные ученые, помогающие агрессивнейшим силам империализма готовить оружие массового истребления, пытаются оправдаться ссылками на «высококлассовую», «общечеловеческую», «космополитическую» ценность достижений науки и техники? И что является на деле от этой искренности, лиризма при этом или иной ученый, или только «в каждый данный момент искренен» или просто лицемерит? — факт остается фактом: их богомоловство не только не становится «воинственным» с их соумышленниками, а ужаснулся с ними и помогает им.

Нет, одним словом о значении, о радости, о величии труда мало! Они остаются пустым звуком, если труд не соединен с борьбой за раскрепощение труда, если творчество не подчинено ясно осознанному передовым идеям целям. Значение Горького заключается не только в том, что он раскрыл и показал духовное, философское, эстетическое содержание труда, но и в том, что так же глубоко раскрыл и так же ярко показал его общественно-политическое содержание. Роль труда в процессе овладения человека — именно эта тема стала его всеобщим освещением в работах Ленина и Сталина, посвященных социалистическому соревнованию, в их высказываниях о ростках коммунистического отношения к труду. «Лени работает у нас не на экзаменатора, не для обогащения тунеядцев, а на себя, на свой класс, на свое, советское общество, где у власти стоят лучшие люди рабочего класса», — говорил товарищ Сталин, обращаясь к стахановцам. — Поэтому-то труд имеет у нас общественное значение, он является делом чести и славы». Вот это общественное значение труда, которое одно только и может превратить его в подлинно свободное и подлинно радостное творчество, — первый раскрыл в художественных образах Горький.

Не случайно в последних больших произведениях Горького — в «Мои университеты», «Деле Артамоновых», «Жизни Ивана Самгина» — даны такие замечательные картины коллективного труда. Не случайно здесь играют такую важную принципиальную роль зарисовки редких моментов, когда радость творчества вспыхивала в народе даже в условиях старой подневольной жизни. На этих страницах горьковских эпопей лежит ответ статей Ленина о социалистическом труде. А посвященные этому вопросу разрозненные выступления Горького последних лет были прямыми откликами на высказывания товарища Сталина о труде как дела доблести и героизма. Это проявилось с особенной силой в докладе Горького на съезде советских писателей, где главное значение имеет, в сущности, указанная тема: о труде как великой силе, охватывающей человека. Для того, чтобы «выпрямить» человека, «выпрямить» его духовно и превратить в Человека с большой буквы, — необходим социалистический труд. Вот этому новому, невиданному труду, такому труду, о котором прежде можно было только мечтать, — и посвятил Горький.

И если в социалистическом труде заключены уже зерна коммунизма, и если именно Горькому было первому дано запечатлеть это в искусстве, то разве не ясно, что значение его творчества не может уменьшиться со временем? Напротив, значение его будет расти и расти с каждым нашим новым шагом вперед, с каждым новым приближением нашей страны к коммунизму.

1 Ю. Юзовский «Сомов и Богомолов», «Театр» № 5-6, 1946 г., стр. 68, 71.
2 Ю. Юзовский «Испытание сеной», «Советское искусство» № 28 от 20 июня 1947 г.



Алексей Максимович Горький

Л. ПАСЫНКОВ

Из встреч с Горьким

Машина остановилась, потому что на дороге стоял Алексей Максимович. Он в серо-голубой рубашке, повязанной светлыми шерстяным галстуком, в светлом костюме, в азиатской туфлетке, в туфлях светлой кожи итальянского покроя, мягких и удобных для больных ног.

Наклоняет голову к окну моего автомобиля. За стеклом вижу усы, выпорхнувшие на солнце лет и Сорренто, жидковатые усы старика. Горький всегда сутулился, было это, казалось, не только от худобы, потому что, по и от внимания к вещам, к людям, к которым прислушивался, как музыкант к звуку струны. И теперь он наклонился к крылатому, открывшему дверцу придерживая рукой, рука его белая.

Мне грустно видеть его стариком. Когда-то не узнал его, когда увидел впервые. Влюбленный в его ранние портреты, я увидел тогда сорокалетнего Горького в крахмальном белом, стриженного, без кудрей — и не то что пережил некое разочарование, а должен был потратить минуту, чтобы прищипнуть к тем, что мой Горький, автор многих томов любимых книг, уже немощ.

Он стар. Горький стар? Илья, я пропал с тем, что и мне уже давно не принадлежит, — с моей читательской молодостью, с тем временем, когда драматичными руками разрезал лазерные книжки «Знания».

Позже гости пошли купаться на Мокшань-реку, — сизую с хозиную на площадке лестницы; Алексей Максимович расправился о прожитом, острожно осветлялся о работе. Говорил о Кавказе, пережевывая беседу своими кавказскими историями.

— Вот вы пишете о пережитых рода, — говорит он, черта бесшабашной тупой по земле. — Одинок был там неистово человек, верно?

— Теперь этого нет.

— Разумею! Нет и не может быть. По все ли делают? Человека мало приобщить — пусть делает хоть самое незаметное, но общее, советское дело, и непременно — пообширней...

Помолчали.

— Скажите, пожалуйста, кто ж он был, человек, в своем роде? — «Доплатная дробь!» Помните, у Успенского справка о наличии лошадей у бедных крестьян — не лошадь на двор, а доплата дробь.

— Пожалуй, так. Пожалуй, вы — правильно. Что ж чувствовал этот человек? Чувствовал, вероятно, — так, мол, и должно быть!

Горький стел начерченное на земле: — Отсюда видно, как огромна роль Поезда Сталина. Человек он — преследующий в людях дробь, и видит он не только назначение человека, а и значение. А это очень, очень важно...

Гости возвращаются с купанья. Алексей Максимович, разудав жаны на податливо краснеющей щеке, кричит, как пареня на селе: — Ого-го-го...

И поднимает мне, знай наших. Он торопится к площадке, садится на скамью, с удовольствием глядит на морские лица.

— Пись ты, — говорит с завистью и крикает. — Становится прохладно. Острым тает снизу водой, табак обжигает, белые стрелы-цветы расширяются, распространяются, предвечернее смутное благоволение. Сыро. Горький сидит на скамье, поднимая хулые плечи; в белых усах играет резкий, ступающийся хололом ветерок. Алексей Максимович терпит, а может, и нежится, в Сорренто ветра — горячие, крутые, дышащие широко.

— Пись, мокрое, — завистливо говорит Алексей Максимович, глядя на гуляющих, — а я — не могу сидеть вна; сердце — ни к лешему, 167 ступеней, — фантазирует он.

Но он не хочет утешений.

— Ничего! — длинные поззры чуть раздвигаются. — Скоро станут готовить алюминевые сердца, о чем и ставлю вас

в известность. Вещь портативная, легкая...

— Этого не будет, Алексей Максимович.

Ему не нравится печаль, он притворяется и хлопает собеседника по спине: — Будет. — И выпрыгиваясь, говорят якобы зычно: — Все непременно! Алюминевые сердца, а? Предпочтительно два иметь: один по дороге, одно пошу в груди, другое заласное — в жилетном кармане. Если нужно — замени, давай пошел. Практично и удобно, чорт возьми.

Прервав свой обед, состоящий преимущественно из хлеба и огурцов, он приоспит беглые карты с наклеенными лловыми бумажными рисунками: олени, самосы, лошади. Это детские рисунки, скопированные писателем Воволодом Лебедевым. Горький с радостью говорит о деталях их таинственных и как бы предрешенных способностях.

После обеда Горький, не желая, чтобы я заставлял, обращается ко мне и громко, к моему ужасу, говорит: — А помните «Князя Муху»?

— Помню, — говорю, леденя, — по вытло, как вспоминаю?

— Да уж помню. — Алексей Максимович поглаживает усы.

В 1915 или 1916 году я принес ему роман «Князь Муху» — произведение поразительное; первым оно поразило и угождало автора. Горький тогда мне коротко сказал, что исторические романы некто Фобер писал лучше меня. Я в этом не сомневался, но, услышав о Фобере, сел жидко.

Алексей Максимович поглаживает усы, не скупая пристальных глаз: — Здорово наворочено было!

Чувство, мою работу он лучше помнит, чем я сам. Неужели за эти неостановленные громадных лет, живя неукротимой жизнью среди неумолчающих людей, он сохранил в бездонной и подробной своей памяти неужау одного из бесчисленных своих посетителей, молодых разумных авторов.

Думаю, что Алексей Максимович через всю жизнь помнит людей не только по именам-отчествам, особенностям; и тут не просто почка, нагая, как пать, ладный и ладный, память, а память сугубо творческая, так как Горькому для подтверждения его идей нужен огромный материал. Так вот какая нужна структурная почка, выражаемая языком агронома, чтоб взоршел такой обильный, всегда обильный урожай чувства, мысли.

Вспоминаю тему, предложенную мне Горьким летом 1916 года.

Взять семью. Непременно — маленький городок, по-своему сый, по-своему — живописный. Родоначальник семьи затеял из местных торфов готовить картон и оборотную бумагу или, к примеру, строить кожаный завод. Искренностью родоначальник скопил деньги — жестоко, но и неосознанно. Вот возмуг бумагоделательную машину; сам хозяин — подставил, для примера рабочим, плечо, а машина и завалилась...

— И наш хозяин, — говорит Горький, все еще не глядя на гостя, блуждая взглядом по окнам, — тут и дал маленького соку. Но машину все же поставили. Хозяин подчинился. И, когда дали рабочих, вспоминали ему, как сам он лежал под машиной...

— Вы, конечно, по-своему... по-своему постройте, — нетерпеливо говорит Алексей Максимович и взглядевает. — Начав с портрета, непременно продолжите портретами семьи. Сленье, жалкие существование, ничтожные и обильные смерти.

Он встал, стонув краем ладжа мундашного пашпоры и роняя ее на пол.

— Воротка представьте себе, железные, кованые, крытые медью. А? И замки на воротах. Зачем! Не один замок, — протестует Горький, — на одном засове два замка — один другого мудрей. И, — Алексей Максимович поднимает муштук. — А на дворе — похщенный из соседнего

В украинском селе Мануйловка

После смерти Алексея Максимовича Горького колхозники украинского села Мануйловка Полтавской области решили организовать в одной из хат комнату-музей любимого писателя. В 1939 году музей А. М. Горького в Москве прислал в Мануйловку экспозиционный материал и буют Алексея Максимовича работы скульптора Н. Брандеской.

С тех пор ежегодно, 18 июня (дата смерти писателя), в Мануйловку со всех концов Украины съезжаются чествовать память А. М. Горького тысячи людей. На митинге перед музеем выступают представители партийных и советских организаций и местные колхозники, среди которых многие помнят Алексея Максимовича.

... В конце 1896 года Горький тяжело заболел обострением туберкулеза легких, первые признаки которого у него появились еще раньше. Врачи предписали немедленную отправку его в Крым. Денег не было. Получив из Лифодна его рублей суды, мы приехали в Крым и устроились в пансион в Алушке.

Первое время болезнь туго подавалась лечению. Перелом наступил лишь после того, как Алексея Максимовича начал лечить доктор Александр Николаевич Алексин, который вызвался из Ялты к наиболее тяжелым больным.

Большую часть дня, по совету Алексина, Алексей Максимович проводил в парке. Как-то к нему подошла немолдая стриженная дама с крупными чертами приятного лица. У нее был фотоаппарат, которым она усердно снимала виды парка. Ей хотелось сфотографировать и Горького, на что он согласился с неохотой. Это была Александра Андреевна Орловская, уроженка Ширинская-Шихматова из Мануйловки. Весной, уезжая к себе, она уговаривала нас провести лето в ее родном селе. Рассказывала о природе, о чудесной реке Псё, говорила, что там можно дешево и удобно устроиться.

Так мы попали в Мануйловку и прекрасно прожили лето. В Мануйловке родился наш сын Максим.

Алексей Максимович быстро перестроился с наиболее передовыми крестьянами, устроил хор из парубков и дивчат, возникла мысль ставить спектакли. Работа закидела. Сами шли костюмы, раскрашивали декорации. Алексей Максимович был и за режиссера, и за актера.

Ставили «Мартына Борулю», «Пазаря Стодола» и другие украинские пьесы. Ставили и русские — «Чужое добро впрок не идет», Устраивали импровизированные концерты. В пьесах и концертах участвовали местные крестьяне, учителя и неизменно Алексей Максимович. Весело проходили спектакли, а еще веселее — подготовка к ним. После спектаклей часто устраивались вечеринки.

Алексей Максимович был очень увлечен этими постановками. Когда во второй раз приезд в Мануйловку, в 1900 году, я поехала в конце лета в Нижний сатьа к зиме квартиру. Алексей Максимович поручил мне убедить М. С. Станиславского прислать ему свой режиссерский экземпляр «Возника Гешелла», так как он задумал поставить его в Мануйловке. Прислать свой экземпляр Станиславский, конечно, не мог, да и поздно было разучивать новую пьесу. Лето кончилось, пора было возвращаться в Нижний.

Алексей Максимович к этому времени совсем окреп, все признаки болезни исчезли. Дружба Алексея Максимовича с мануйловцами не прошла бесследно: из многих, как мне рассказывали, вышли деятели революционного движения 1905 и 1917—1918 годов и участники подпольного движения против немецких оккупантов.

Сейчас, как сообщает мне мой старый друг из Мануйловки, это старинное украинское село, полностью разрушенное немцами, быстро восстанавливается. Началось восстановление и комнат-музеев. Возобновились традиционные торжественные народные сьезды памяти А. М. Горького в день его кончины.

Многое, о чем еще сегодня говорили — о превосходных советских писателях, расцвете театра, трудностях, тайнах физического устройства сердца, о Кавказе и Угличе, о комсомоле, о Днепротресте и постройке второй в мире плотины-плоты в Аварии, в Тергеме, — все это сложилось не в день; неизменно был только один измеритель времени — сам Горький. Все так же он видел в каждом человеке его человеческую равнодушность, все так же разговаривал с людьми без «внутренних дистанций», все так же беседовал, — кто б он ни был, — не попадал в состояние господина Прохачкина, который «с Наполеоном сражался», как у Достоевского, Горький оставался для всех близким, будничным во всех бережущую любознательность.

Очень поздно. Шофер ссадил гостей, кроме меня, живущего на далеком краю Москвы.

— Читаю его книги. А что, позволите узнать, Горький высшее кончил?

— Нет. Прочтите «Мои университеты».

— Все-таки учились в университете и не закончили?

— Нет. Он и в средней школе не учился.

— Сам дошел?

— Сам.

— Та-ак!

Долго молчал шофер.

— А все ж, предвидите ему замену?

— Пока не предвидится.

Долго вертит баранку руля, петлит по улицам; осторожно спрашивает:

— А кого первого ссадил, — как он?

— Критик.

Спрашивает:

— Может заменить?

— Нет. Горький очень большой критик, но не тот, кто критик.

— А второй?

— Редактор. Хороший редактор; заменой быть не может.

— Ну, а молодой, которого туда вез?

— Очень хороший писатель.

— Не может?

— Нет! Горького не может...

Спустила минут:

— Навините. Давно вы работаете?

— Больше двадцати лет.

— А себя как полагаете?

Смеюся:

— Начет «замены» — ни-ни...

— Вот какое дело, — с грустным надуленным проталкивает шофер.

Он говорит так, точно великие учителя жизни, нехотя и громадности писателя не должны переводиться, так как это — в убыток государству.

— Может быть, скоро будет?

Говорю:

— Но Горький — неповторим.

Шофер, словно с укоризной, молчит до самого Пазайлова.

Стою:

— А все-таки, счастливый вы, — выхвачает шофер. — Целый день проговорил с ним.

...Вспоминаю старика-швейцара на Кронверковом; 34 года назад каждому, входящему в подвал, старик говорил с улыбой сочувствия, оглаживая — не виден ли край рюшечки из кармана лад под бортом пальто:

— К Пешкову? Дома!

— А можно?

— Раз дама — к нему всегда можно.

— Меня он не знает.

— Зна, не знает. Он всех знает и поджидает...

Стою у парка, абхаец на Афоне, — вслед удаляющемуся с молодыми людьми Горькому:

— Каждый год жизни отдал бы ему... я уже считал провожающих: хватило б ему!

И еще раз сосчитал провожающих глазами, с изумлением простого, но невыполнимого желания, прибавил:

— По полгоду, вижу, отдал, и то хватил. Ему б хорошо, и всякому человеку хорошо бы!

27 MAR 1948